

Давид ШАПОВ

Предлагаемые обстоятельства

Севастополь, тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Июнь или август. На круглой эстраде в Городском саду играет духовой оркестр. Темные, прожаренные солнцем лохматые листья каштанов, плавающий на жаре асфальт и люди во всем белом. Белые платья на женщинах, белые брюки и рубашки на мужчинах. Белые парусиновые туфли, начищенные зубным порошком, разведенным на молоке, белые улыбки на темных загорелых лицах. Все смеются, в руках у женщин цветы.

Мне восемь лет. Я стою в узкой полоске тени от ствола каштана и наблюдаю суету взрослых. Они собираются фотографироваться. Все разом о чем-то говорят, паясничают, смеются, наконец становятся в ряд, нога за ногу, руки смыкаются на плечах соседа, в зубах у каждого папироса. Кто-то вспоминает о ребенке и, смеясь, предлагает папиросу мне. Я чувствую горьковатый запах табака и пресный вкус бумаги во рту.

Рядом с папой стоит Петя Розенкер, великолепный джазовый пианист, потом Фима Гризотский — он играет на гитаре, банджо, контрабасе и ксилофоне и, наконец, Моня Табачников — длинный, рыжеватый, с большим кадыком. В те годы будущий модный композитор Модест Табачников был ударником. Не героем труда, а музыкантом, который играл на ударных инструментах и пел в рупор. При разговоре он заикался, но пел замечательно:

*Мама — это слово всех слов нежней,
Мама — это солнца лучей горячий,
И всю жизнь лишь она
Нам всегда, всегда верна,
Милая, добрая мама.*

Папа играл на скрипке. Когда-то он закончил Императорское музыкальное училище в городе Херсоне, и ему предлагали учиться дальше, но он любил джаз и красивую жизнь. Джазы в те годы играли везде — на танцевальных площадках в парках, в кинотеатрах перед началом сеанса и, конечно, в ресторанах.

Кроме мужчин на фотографии запечатлена одна женщина — гибкая, в белом по фигуре платье, в короткой стрижке, со сверкающими зелеными глазами и белоснежной улыбкой. Мама. Она улыбалась всегда. Я тоже улыбался, потому что все вокруг было залито солнцем, играла музыка, и был праздник, а когда тебе восемь лет, папа с мамой смеются, и на твоих ногах новые "скороходовские" сандалии, — тогда каждый день праздник.

Папин джаз гастролировал в Севастополе уже вторую неделю, и все жили в гостинице. Сначала Севастополь нравился мне, особенно набережная, откуда были видны военные суда флотилии Черноморского флота. В Одессе все ребята мечтали стать моряками, но я не разделял их мечту. Я еще не знал, кем буду, когда вырасту, но любил мечтать и проводил большую часть дня в уединении, сидя под обеденным столом в нашей комнате в Одессе. Стол стоял в центре ее, занимая большую часть комнаты. Это было огромное дубовое сооружение на массивных точеных тумбах, со сложным раздвижным механизмом, в котором мне виделись навесные мосты какой-то крепости. Мосты вели к лабиринту улиц и туннелей, в изъеденных шашелем руслах когда-то текли голубые реки, а по берегам их селились маленькие люди, мудрые и приветливые. Почему они покинули Стол? Что случилось с их цивилизацией? На этот вопрос я не находил ответа, и потому просто сидел великаном под сводами стола-Парфенона и читал книжку, пока не открывалась дверь и в ней не появлялись ноги отца.

— Сыночек, — звал меня отец, и я, торопливо спрятав книгу за ближайший уступ стола, выползал из укрытия и появлялся перед ним. — Что ты сегодня делал, сыночек?

— Ничего...
— Целый день ничего?
— Я... читал.

Отец тяжело качал головой.

— Читал. Лучше бы ты стекло в окне мячом разбил, морду кому-нибудь расквасил. Ты посмотри на себя — у всех дети как дети, а у меня бледная немочь растет.

Он долго вздыхал, курил, кашлял, потом замечал, что сын все еще стоит перед ним солдатиком, и с отвращением бросал:

— У всех дети как дети, а у меня бледная немочь растет. Ступай с глаз моих, не выйдешь из тебя толк, понимаешь? Не выйдешь! Ты не от мира сего.

Я не понимал, как этот толк может из меня не выйти, если должен, и куда он денется, если он не выйдешь, и как мне жить с этим не вышедшим из меня толком? Я тяжело вздыхал, и мама, обеспокоенная этими вздохами, спешила к ребенку и трогала губами мой лоб. Убедившись, что лоб не горячий, она удовлетворенно заканчивала процедуру поцелуем и принималась за мытье пола, а я устраивал-

ся на диване, держа в руках свое сокровище, книгу в коленкором переплете с золотым тиснением, которая называлась "Дон Кихот" писателя Сервантеса. Книга была очень дорогой, и не каждому ребенку в таком раннем возрасте делали такие подарки. Так говорил папа. Но не каждый ребенок так рано умеет читать, это говорила уже мама.

Я завидовал мальчишкам из простых семей, которым родители разрешали играть во дворе в соловья-разбойника или в салочки. Мне категорически запрещали с ними общаться, и вообще выходить во двор. Дело в том, что дома в Одессе строились отдельными флигелями, которые примыкали друг к другу, образуя квадраты, и внутри такого квадрата находился двор. Туда выходили "черные" лестницы, в центре двора обычно находилась водопроводная колонка, а в углу обязательная дворовая уборная, из которой мерзко несло человеческими испражнениями, приглушенными ядовитым запахом карболки.

Однажды какие-то люди выгородили часть двора, водрузили в середине флагшток, поставили несколько скамеек, и теперь это все называлось "Форпостом им. Постышева". Что такое "форпост", и кто такой Постышев, никто не знал, и, как потом выяснилось, знать не надо было, потому что вскоре Постышев оказался "врагом народа", и его расстреляли, но флагшток остался, и пацаны на скамейках резались в карты, курили и плохо выражались, как утверждала мама. Вот почему мне не разрешали выходить во двор, и вместо прогулки я утром выводил в коридор свой трехколесный велосипед, который мне подарили на день рождения.

Нашу квартиру на третьем этаже до революции занимала одна семья. В ней был длинный широкий коридор, и по бокам его резные дубовые двери вели в анфиладу комнат. Теперь в квартире жили восемь семей, в коридоре повесили восемь индивидуальных электрических счетчиков, а в сортире величине в два на полтора метра установили восемь электрических лампочек, и теперь каждый жилец, отправляясь в сортир, зажигал свою лампочку. Таким образом, в парадном на входной двери красовались восемь кнопок электрических звонков, которые по неизвестным причинам звонить отказывались, и обычно в дверь просто стучали кулаком. К нам, к примеру, стучать следовало три раза.

Педали моего велосипеда противно скрипели, и мама боялась, чтобы я, не дай Бог, не разбудил соседей. Но соседей скрип педалей не беспокоил, и я крутил их как мог быстро, развивая сумасшедшую скорость, и велосипед заносило на поворотах, но я выравнивал его и выходил на финишную прямую, которая вела в кухню, где постоянно гудели восемь примусов, и если у вас никогда не было своего, то вам не понять, что такое горящий примус.

Ну, прежде всего, это корпус. Такой медный резервуар, куда наливали керосин и плотно закручивали крышку горлышка. К резервуару были припаяны три ножки, на которые ставилась кастрюля, а между ними располагалась горелка. Горелку нужно было предварительно нагреть, чтобы струя керосина, которая, после того как вы накачаете примус, выбила из форсунки, воспламенилась, примус зажужжит по-сумасшедшему, колпачок горелки раскраснеется — и готово: ставьте на него чайник, кастрюлю или сковороду. В общем, от одного примуса можно сойти с ума, а если восемь?

Поэтому, не доезжая до кухни, я делал крутой поворот и возвращался к старту. К этому времени квартира просыпалась, и все становилось в очередь к "туалету", как называли грязный и вонючий сортир — один на восемь семей. Вода на третий этаж не доходила, и сливной бачок не работал, поэтому в руках у соседей были ведра "для сливания" и индивидуальные сидухи.

Все это я видел много раз, проезжая мимо на своем велосипеде, как маршал Буденный на вороном коне во время парада, — я видел фотографию в журнале "Огонек". Некоторые соседи мне улыбались, когда я отдавал им честь, но были и такие, которые делали вид, что не замечают меня, а то и демонстративно отворачивались. Я понимал, что время раннее, все торопится на работу, очередь длинная, всем припичило, а из сортира несется голос нашего соседа, художника Ольшаницкого:

— О я никогда-а-а так не жаждал жизни... Я спрашивал у мамы, почему Ольшаницкий жаждет жизни именно в сортире, а мама объяснила, что сосед репетирует арию Кавардоси, и что в сортире хороший резонанс, а у него одна комната на четверых.

После прогулки по коридору я усаживался на диван и ждал, пока мама закончит мыть пол в комнате. Полы мыли не только из гигиенических соображений. Солнце разогревало воздух в комнате до невыносимой температуры, и,

спасаясь от зноя, все днем мыли полы и плотно закрывали створки белых ставней на окнах. Какое-то время в полумраке сохранялась влажная прохлада, и тогда я открывал своего "Донкихота", претолстенное сочинение писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра о хитроумном идальго Доне Кихоте Ламанском.

Сейчас, когда мама собралась увезти меня на лето в деревню, для того чтобы ребенок набрал вес, или, как тогда говорили в Одессе, "поправился", стоял вопрос: взять ли книгу с собой, или оставить ее в книжном шкафу за стеклянными дверями. Я и сам не знал, как отнесется Дон Кихот к поезду. Украинская деревня все же не поместье в Ламанче, и хоть был Рыцарь Печального Образа очень неприятельным, но все же...

В деревню мы отправлялись каждое лето. Можно было, конечно, снять дачу на Фонтане, у моря, что я очень любил, но там не было парного молока и гоголя-моголя из свежих яиц, которые я ненавидел. Кончалось все тем, что два месяца мы маялись в пыльной деревенской жаре, умывались из чайника и спали на матрацах, которые одновременно были гнездилищем блох, я загорал до черноты, гоня по улицам с деревенскими мальчишками, но вес мой оставался тем же, зато мама, доедая за мной манные каши, щедро приправленные сливочным маслом, набирала ненужные ей килограммы.

А еще я любил книжку под названием "Рассказы об артиллерии". Чем именно она меня привлекала, сказать трудно. Я не мечтал о военной карьере, и литературно эти рассказы были на достаточно среднем уровне, но я помнил их почти наизусть, а к Большой Берте проникся особым чувством. Она была первой среди гладкоствольных. Прочие гаубицы и пушки размещались в моем воображении согласно табели о рангах.

Но, конечно, главной была книжка о Рыцаре Печального Образа, и даже не столько о нем, сколько о его любви и верности к прекрасной Дульсинее Тобосской. У меня самого в то время уже были тайные возлюбленные, хотя до знакомства с Сервантесом я не знал, как это называется, а теперь узнал и начал перебирать в памяти знакомых девчонок, которые годились бы в мои Дульсины.

Вскоре мы вернулись в Одессу, в нашу квартиру, — так тогда все говорили, хотя в большой коммунальной квартире мы занимали только одну комнату. Ключевое слово здесь — "коммунальная", производное от коммуны, как и слово коммунизм, но если коммуна была аналогична нашей квартире, то никакая это не мечта человечества — это было понятно даже ребенку. Но об этом несколько позже.

Она нашей комнаты выходила на юг, и летом солнце неумолимо выжигало все — обои, цветы, сидения на диване и клеенку на обеденном столе. Хорошо еще, что дома когда-то строили из ракушника, который добывали в каменоломнях под городом, и стены домов были, наверное, в метр толщиной. Под городом остались длинные лабиринты катакомб, где, по слухам, жили цыгане и прятали там украденных у родителей детей.

Так вот, толщина наружных стен предохраняла все живое в квартирах от нещадно палящего солнца. А еще на окнах были ставни — длинные створки из дерева, окрашенные белой масляной краской. Днем ставни закрывали, и в комнате сохранялся прохладный полумрак. К вечеру, когда солнце уходило за дом, я забирался на подоконник и смотрел вниз. Там по блестящим рельсам ходил трамвай номер 23, и на нем можно было проехать от Нового базара до Привоза.

На другой стороне улицы в одноэтажном особнячке была мастерская часового мастера Фейгмана. Он обычно сидел у окна, в одном глазу была зажата специальная лупа, чтобы лучше видеть часовой механизм. Он настолько привыкал к ней, что так и ходил по мастерской, с лупой в одном глазу, отчего лицо его смешно кривилось в одну сторону. Однажды утром я заметил, что часовая мастерская не открылась, как обычно, и Фейгман в окне не появился. Я спросил у мамы, что с ним. Мама только покачала головой, но наш сосед по квартире, художник Ольшаницкий, рассказал мне по секрету, что Фейгман взял "за золотуху". Что такое "золотуха", он мне не объяснил, но я уже сам догадался. Кто не знал, что часовая мастер втихаря торговал золотом, а все золото принадлежало народу? Но мне было жаль часового мастера. В общем-то, он никому не мешал, даже если у него нашли золотом. И вообще, мне не нравилось слово "золотуха". Как будто это болезнь какая-то. Я поделился своими мыслями с папой, но тот очень рассердился на меня и, оглядываясь на двери, сказал, чтоб я выбросил из головы такие мысли, и потребовал от меня

обещания никогда и никому об этом не говорить. Я обещал, но не переставал думать. Теперь, когда ночью я слышал звук проезжающего автомобиля, я представлял себе, как из него выходят люди в черных костюмах и стучат в чью-то дверь. Ее долго не открывают, но стук становится все громче, просто грохот какой-то, и тогда дверь открывают. Из нее выходит бледный, как стенка, человек, и его уводят. А в комнате еще долго кто-то будет плакать.

Как-то папа приехал домой с радостной вестью: ему удалось по знакомству включить сына в число кандидатов на прослушивание в музыкальной школе имени проф. П.С. Столярского. О гениальном педагоге, учителе самого Давида Ойстраха, в городе ходили невероятные легенды. Одни утверждали, что профессор так и остался малограмотным клезмером, и только благодаря советской власти стал "красным музыкальным профессором", другие даже слышать о таком не хотели и перечисляли имена его заслуженных учеников, но когда на Сабанеевом мосту построили новую школу и назвали ее именем живого профессора Петра Соломоновича Столярского, все кривотолки прекратились, и мечтой одесских родителей стало определение их детей в школу прославленного педагога.

В огромном полукруглом зале стоял удручающих размеров черный рояль, и на стульчике сидел Он, седой уже старик. Папа тихонько подтолкнул меня в спину, и я поплелся через весь зал к старику у черного рояля. Тот посмотрел на ребенка мутными глазами с красными веками и спросил, как меня зовут. Я назвал и вдобавок сообщил, что мой папа тоже музыкант, а лично я очень люблю петь. Профессор попросил меня что-нибудь спеть, и я начал громко:

*Ужасно шумно в доме Шнеерзона,
Се тит зих хойшех, прямо дым идет.
Там женят сына Соломона,
Который служит в Губтрамот...*

Профессор послушал немного, склонив голову на одно плечо, и взмахом руки остановил меня — и хорошо сделал, потому что в этой песне было бесконечное количество куплетов, и пение могло длиться до утра.

Дальше была проверка на ритмику. Старик отхлопывал своими подагрическими ладонями какие-то заковыристые ритмические фигуры, а я должен был это повторять. Запомнить их было невозможно, и мне уже порядком надоел старик Столярский. Хотелось домой, поэтому, не задумываясь, я отхлопал какую-то белиберду, чем немало удивил профессора, — оказалось, что все правильно и, не веря ушам своим, Столярский задал задачу заковыристей, а я назвал ему все повторил. Кончилось тем, что профессор устал, а мне захотелось "по-маленькому".

Мама отвела меня в туалет, а папа остался разговаривать с профессором. Тот признал, что у его сына абсолютный слух, и сказал, чтобы отец обратился в канцелярию, — там ему расскажут, что делать дальше. Через два дня от них пришло письмо, в котором уведомлялось, что я зачислен в подготовительный класс педагога Мордковича. На следующий день папа привез какой-то маленький футляр, похожий на гробик, и в нем лежала скрипка-восьмушка. Она очень приятно пахла свежим лаком, тогда как от папиной, старой, несло каннифолью и табачной горечью.

Педагог Мордкович был рыжим. Даже можно сказать, красным. Руки и лицо его были густо покрыты веснушками, а за маленькими веками с короткими прямыми ресницами блестяли карие лукавые глаза. Сначала нужно было научиться держать скрипку под подбородком так, чтобы локоть левой руки не оттопыривался, а наоборот, уходил под подушку скрипки. Потом уложить в пальцах смычок. Все это мне казалось глупостью. Почему обязательно нужно так красиво, веером, располагать пальцы на смычке и картинно изгибать кисть? Не буржуй же я какой-то с кружевными манжетами, как на миниатюре неизвестного художника, которую мама купила по случаю с рук. Время же другое! Я спросил папу, держит ли он смычок так, как показывает Мордкович, или как-то по-советски, но папа не понял и начал объяснять все по-своему, а когда я заметил, что Мордкович показывает иначе, папа решительно заявил, что педагог Мордкович выжил из ума, и все скрипачи держат смычок именно так, как он.

Потом начались гаммы, и если бы все дело было в Мордковиче, пытку гаммами можно было бы перенести, но был еще отец, музыкант, выпускник херсонского Императорского музыкального училища, где, по его рассказам, нерадивых учеников били смычком по рукам. Отец работал вечерами в ресторане, а днем занимался с сыном музыкой, потому что, по его мнению, моя правая рука была как

дубина, скрипку я держал, как паралитик, и звуки издавал адские. Папа брал свою скрипку и играл гамму. Слушая его, мне становилось ясно, что я бездарность, которую нужно бить смычком по рукам, что на меня зря тратят время, и скрипачом я стану тогда, когда на ладонях папы вырастут волосы. Я не знал, как долго растут волосы на ладонях, но понимал, что это дело далекого будущего.

Однажды я спросил у педагога Мордковича, сколько примерно времени обычно занимает рост волос на ладонях. Тот долго смотрел на меня, не понимая, и тогда пришлось ему объяснить, что, по мнению папы, я стану скрипачом тогда, когда на ладонях отца появится растительность. Мордкович ужасно разозлился, лицо его сначала покраснело еще больше, потом побелело, и он сказал, что у сына его отца есть все данные стать серьезным музыкантом еще при его, Мордковича, жизни, тем самым задав мне новую загадку: как долго Мордкович будет жить? А если ему завтра кирпич упадет на голову или он попадет под трамвай, — что тогда? Я почувствовал свою полную зависимость от двух музыкантов, и что-то мне расхотелось становиться третьим.

Все лето я занимался музыкой. Легкая поначалу скрипка к концу второго часа гамм наливалась чугуном, ладони потели, и пальцы не держали смычок. В связи с моими занятиями мама мыла пол дважды в день, в углу жужжал вентилятор, но ребенок изнемогал. Испытательный срок, или подготовительный период, заканчивался, на носу был сентябрь месяц, и пора было выбирать школу. Вопрос, пойдут ли я в специальную, имени Столярского, или в обыкновенную, среднюю, должны были решить родители совместно с педагогом Мордковичем. Они ушли на собеседование, а я одиноко бродил по школе, смотрел на старших учеников с футлярами со скрипками подмышкой и удивлялся: кому же нужно столько скрипачей?

Родители вернулись хмурыми, мама не смотрела в сторону папы, а тот, сунув кулаки в карманы, не смотрел на сына. Какой там был разговор, мне неизвестно по сей день, но первого сентября я пошел в первый класс средней школы номер 39 с обязательным посещением три раза в неделю класса педагога Мордковича.

Говоря о школе 1940 года, прежде всего, вспоминаются тяжелые, как танки, двухместные парты с откидными досками и покатыми столешницами, выкрашенными густой липкой черной краской. Потом незабываемый запах дезинфекции в коридорах, как в больницах или дворовых уборных. И еще тетрадки — тощие, с шершавой бумагой, в которую была впрессована необработанная деревянная стружка, и перо номер восемьдесят шесть, спотыкаясь о нее, брызгало фиолетовыми чернилами, оставляя на только что написанной странице с палочками жирные кляксы, — и приходилось начинать новую страницу с этими палочками, потом палочками с крючочками, потом с двойными палочками — и так дальше, до умопомрачения. Придя домой, я наскоро мыл руки и ел полдник. Мама смотрела на осунувшееся лицо ребенка и тяжело вздыхала. Еще бы, при такой нагрузке! Мне разрешалось полчаса почитать, потому что нужно было готовиться к уроку по музыке. Оттого, что гаммы уже не скрежетали под моим смычком, они не становились музыкой, и если в этом заключалась учеба в школе им. П.С. Столярского, то я предпочитал писать фиолетовыми чернилами бесконечные идиотские палочки вместо бесконечных идиотских гамм — и к черту Столярского вместе с Мордковичем.

Так прошел год. Я закончил первый класс с похвальной грамотой, на которой были напечатаны портреты Ленина и Сталина в золотых овальных рамках, а педагог Мордкович поздравил маму и папу с успехами сына на поприще музыки, заверяя, что его класс с удовольствием примет такого талантливого ученика.

А пока впереди было скучное лето. Теперь, после тяжелого учебного года, меня наверняка увезут в деревню, где по ночам в матрацах будут копошиться блохи, а утром будет раздаваться утробное мычание коров, и нужно будет искать свою кружку, и тащить через двор в коровник, и пить душное жирное молоко, пахнущее прелым сеном и коровьем выменем.

Но все решилось иначе. Однажды утром, когда я ночевал у бабушки на Коблевской и Ольгиевской, меня разбудили громкие разговоры, какой-то шум, вскрикивания, потом торопливый, взхлеб, шепот. Я вышел из спальни в гостиную. Бабушка, очень взволнованная, разговаривала с кем-то по телефону, который висел на стене у балкона, и бабушку то и дело закрывал штофный тюль занавесей. Так я узнал, что началась война, что обязательно нужно запастись мылом, солью и спичками, и что детство мое закончилось.

Михаил ОБУХОВСКИЙ

Если не мы, то кто?..

"Как часто в нашей переписке возникают похожие воспоминания. Если мы еще сохранили крохи памяти о предках, то следующие поколения уже не смогут даже их вспомнить".

Из писем Зинаиды Долговой

Мой прапрадед (Пи-Пи-Ди, как мы говорили) Моисей Обуховский был кантонистом — предтечей суворовских училищ, последователем египетских мамлюков и примером для африканских детей-солдат. В начале тридцатых годов позапрошлого века в возрасте 12 лет его забрали на военную службу на долгие 25 лет. Потомков созданных Петром гарнизонных школ, оторванных от корней, лишенных возможности соблюдать еврейские обряды, мальчиков забирали раньше 13 лет, чтобы они не смогли сделать Бар-Мицву, ведь целью кантонизма была не только подготовка квалифицированных, технически грамотных унтер-офицеров, но еще и ассимиляция евреев. Норма призыва в армию для евреев была три из тысячи военнообязанных — "записанных лиц мужского пола", тогда как для других конфессий эта норма была — один человек.

Забранных в солдаты ожидало насильственное крещение. Отказавшихся прогоняли сквозь строй, и редко кто выживал после палочных ударов. За разговоры на идиш, празднование Песах или Йом-Кипур детей помещали в карцеры с мокрым холодным полом.

Чтобы окончательно отрезать корни кантонистов от их семей, при крещении мальчикам давали новые, христианские имена, — отсюда Воронов, потомки еврейских выкредтов — Менделеев, Мечников... А в одной семье в глубине России старший брат хотел убить царя, а младший пошел другим путем.

От полной ассимиляции еврейских кантонистов (их называли еще "николаевскими солдатами") спасла смерть Николая I. В книге о кантонистах Эммануэль Флиссин определяет кантонизм как "армию еврейских детей". За годы существования рекрутов-кантонистов (1827-1856) отбывало 25 лет более 50 тыс. солдат. В царствование Александра I условия службы значительно улучшились, а затем и сам кантонизм был отменен.

А пока, в поколении моего ППД, среди выживших шел отбор самых толковых детей-солдат. Их учили грамоте и отдавали служить в фортификационные войска, где требовались специальные знания. Наиболее способных набирали в артиллерию, которая составляла основу технических средств армии. В Крымскую войну при отражении атак

полудиких зуавов и вышколенных англичан артиллеристы мортирной батареи, где служил мой Пи-Пи-Дед, проявили героизм, отмеченный в приказе адмирала Истомина. Знаменитый хирург Пирогов писал об особом мужестве и боевой выучке евреев-кантонистов. Так что земля Малахова кургана полита и еврейской кровью. Помню, как у Толстого я наткнулся на рассказ о мужестве кантониста Максимыча и о том, как он обкладывал всех "матюгами" на идиш...

К концу Крымской войны империя была истощена. У евреев брали уже за два года до тридцати кантонистов с одной тысячи. С 1844 солдатским крестом Св. Георгия стали награждать и инородцев, в это число попал и мой Пи-Пи-Дед.

После полных 25 лет военной службы, что совпало с окончанием Крымской войны, Пи-Пи-Дед вернулся в родной городок Новогеоргиевск... Написал "родной", но я не знаю точно, поселился ли он там, где прежде жила его семья, или ввиду потери всех связей — там, где застал его конец военной службы. Ему было уже больше 40 лет, и он должен был начать жизнь заново. Он построил дом в Новогеоргиевске, там, где Тясмин впадает в Днепр, растил двух детей.

По семейным легендам, Пи-Пи-Дед любил публично издеваться над городовым, стоявшим на центральной площади городка, который должен был при встрече с георгиевским кавалером (а Пи-Пи-Дед получил Георгия "на ленте") отдать честь... даже если тот был евреем и носил ермолку. Эта церемония повторялась многократно, пока Пи-Пи-Дед ходил вокруг городского, и была одним из немногих развлечений для жителей Новогеоргиевска, больше половины которых составляли евреи.

Вернувшись грамотным повидавшим мир человеком (Туркестан, "Кавказ"), Пи-Пи-Ди помогал землякам писать прошения и письма, мог оценить имущество для податей, надписать заграничный адрес на конверте. Но самой невероятной было передаваемая из поколения в поколение легенда, что он знал французский, которому его учили пленные зуавы. Штыковой атаке он был обучен, а вот умению берберов, родившихся в Атласских горах, сидеть сутками в засаде, чтобы поймать кого-нибудь на мушку, надо было учиться.

"По-французски говорят у Франсии, ихний язык не трудный, — говорил он, — стафь увереди "ля" — и вот уже ихние слова: ля плафон, ля плянше. Это называют артикель".

Наверное, эти "французские артикли" мое-



го Пи-Пи-Деда и сохранились в семейной хронике. А иначе почему у меня оказалось больше всего проблем именно в определении рода и рода? Правил для определения рода практически нет. Почему стол — она (la table), а кровать — он (le lit)?

Вот и вспоминал я ППД, заучивая французские артикли.

Орденский капитал (пенсия) позволял содержать семью. Может быть, именно поэтому ППД был ограблен. В одну из ночей 1860 года Моисей проснулся от громкого шепота жены: "Моше, Моше... У нас воры... Бандиты...". Моисей продолжал лежать, а когда грабители связали в узлы вещи, он встал, большого роста (а мужества было не занимать), взял грабителей за шиворот, ударил друг о друга и выбросил в окно (так это произошло, по рассказам дедушки Давида).

На следующую ночь бандиты решили отомстить и подожгли дом.

Моисей вынес детей и жену, а когда вернулся, чтобы взять мундир с Георгиевским крестом, горячая крыша рухнула и накрыла его.

Так окончилась жизнь моего прапрадеда, георгиевского кавалера, кантониста.

Один из спасенных детей, Пинхас, впоследствии стал моим прадедушкой.

А кто передаст это дальше, кто допишет "семейную книгу"?

Ведь если не мы, так кто?



«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:

www.odessitclub.org